

КРАСНАЯ НИВА-28



Первая домна Магнитострой
заканчивается монтажом

— Га-га-га, — загремели многие глотки.
— Не паяль хайло и грубить мне не могу. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.

— Проспись, кавалер, открой свои глаза — свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом — требовать.

Шакунов вытянула кадыкастую шею, взглядом выскывая в толпе казаков, потом откашлялась и, грозив седую бровью, заговорила:

— Чего вы, едрена-зелена, уши развесили, всякую хреновину слушаете да еще и зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чертовому батьке...

— Не круто ли, дед, солишь?

— Послушайте, господа станичники, меня старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красновардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То — голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и дроплют, прогуляют, али на папироски растратят. Хай май, ничего им не жалко. Нонче тут, завтра, бес знает, где у вас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и пуги, а, может, у кого и косилка с жнейкой. Так что ж, господа станичники, пустим большевиков на дворы, в хаты да и скажем: «Берите нашеажитое, спите с нашими женками!»

— Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь, — перебил его седоусый вахмистр Луговой. — «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана...» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитрился всех на свой салтык мерять? Я — казак, ты — казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расаю бьются и груди свои молодцевски крестами да медалями изувешали. — Грязной тряпичей он отер слезящиеся глаза и вскрикнул. — У тебя посева, четыреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне 65 годовиков стукнуло, просят старые кости на покой, ая нет: сам над своим наделом горб гну... Из-под ногтей пшеница растет. — Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о козявую ладонь: спичка вспыхнула. — Это ты можешь понять?

— Тут и понимать нечего... Ты, Луговой, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Не одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли пользовались правами? Кто тебе наливать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто ставше тебя чином.

— Служба царская до богатства меня не допущала. Сам двенадцать годов на сверхурочной оттрубил, а сныи тут до самой женитьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции и закашляла, и до сего дня валяю. Нонче смт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть итти? Каково это на старости лет?

— Ну, мой двор стороной обходи. Лучше словесная, спасибо не скажет, а хвостом повдвлет. Через вас, таких дуроломов, и на нас такая туга пришла...

Луговой еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он палюнул и, повернувшись, ушел.

— Батюшка нонче в проповеди справедливо разъяснял: «Труссы и мятежи, и кровопролитные брани... На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».

— Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется революция жива, цела будет и Кубань.

— Ох, эта ваша революция... Переобует она казаков из сапог в лапти.

— Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда... Сто лет будем враждовать и не разберем.

— Неправда. — сказал Максим и снова развернул газету, — разберем. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобратсья, где квас, где сусло, кто говорит красно, да мыслит черно...

Шакунов покосился на газету:

— Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короток: шашка — казачья программа. Кулак мой — вам хозяин. Вот он немоченый десять фунтов, — он воздел волосатый кулак и покрутил им над толпой.

Гвардеец Сергей Остроухов, недавно вернувшийся из Финляндии, протискался к нему и сверкнул глазами:

— Ты, Леонтий Федорович, сперва руки отмой после 905 года... Твои руки в крови...

— Цыц, сукин сын! Всех вас, разбойников, лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего побору, как свиные неба.

Остроухов схватил его за горло:

— Зарез глотку перерву...

Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо, в сопровождении станичного атамана и стариков, вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна Бантыш.

Площадь притихла.

Бантыш снял косматую папаху, поклонился и оспинши от многих речей голосом крикнул:

— Здорово, господа станичники!

Толпа качулась и недружно, в разноробой, ответила:

— Здравия желаем, ва-ва-ва...

— Гляди, какой бравый?

— Орел.

— Он человек проезжий, стравит нас, да и дальше, а нам расхлебывать.

— Этот наговорит... Одному такому же усачу мы на киевском вокзале добре мускула правила.

— Тише вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого соображения в людях нет. Ведь это вам ни тюха-митюха и ни кляп собачий, а его высочайшие господин полковник.

Бантыш по-атамански отставил ногу и заговорил:

— Достохвальные казаки! Настало время сказать, то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все, как один, гаркнем: «Еще есть порох в пороховницах!» Был один Распутин и то сколько горя причинил, а нонче вся Россия распутничает, и ее ж сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церковей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама и подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам, потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя, и законы... Кубань сама себе барыня...

— Так, так, справедливо... — трясли бородами старики, а в дальних углах площади уже снова разгорались споры.

Фронтвики Васянин — глаза блестя, ру-

ками машет — кричал громко, ровно слы окружали глухие:

— Тут тебе земля дворянская, тут — монастырская, тут — войсковая, а где ж наша, мужичья?

— Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводите.

— Я четыре раза ранен...

— Дураков и в церкви бьют.

— По-моему, надо порешить нам, фронтвикам, общим голосом — разделить пай по всем живым душам, и греха больше не будет.

— Меня, друг, с мужиком, с бабой да малым дитем не равняй.. Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими ее сеяли. У нас на кладбище одни женщины да матери лежат, а казаки — кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился. Мы службой обязаны.

— И мы службой обязаны.

— Погоди, кривой, дотякнешься.

— Не грози...

— И другой глаз тебе надо выхлестнуть.

— Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть на погибель таких барбосов, как ты.

— Не доживешь.

— Доживу.

— Не доживешь.

— Доживу!

Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Более спокойные растащили и развели драчунов.

Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали члена рады. Дмитрий Черныраков, как того требовал обычай, отбрыкивался:

— Увольте, господа старики. Вы меня не знаете, не знаете, куда я вас поведу. Выбейте коренного станичника.

— Мы тебя знаем, и батька и дед твой его знаем, послужи.

— Не могу.

— Послужи, Дмитрий Михайлович.

А невдалеке молодой казак стоял ногами на седле и, картинно скрестив на груди руки, говорил речь:

— ...Мы не против рады, но и с большевиками драться не хотим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые фронтвики! Пора нам опаматоваться, куда мы идем и за кем? Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам, навертывали на шею, — тяжелее камней... Вадили они нас царю под ноги...

— Не к делу, не к делу...

— Безотцовщина.

— Геть, чертяка!

— Остро говорит. Чей таков?

— Ванька Черныраков.

— Эге... Так и печет им в глаза, так и печет. Ну и бедовый, пес.

— ...Старики, до кой поры вы будете нас уговаривать и осаживать? Вы, верные слуги его императорского величества царя Пакина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и внуки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали... Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирий! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сгорите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!

— Геть.

— Плетей ему!

— Арестовать!

— Ура-а! Вра-а-а...

— Приступи! Хватай его!

Над головами стариков заколыхался белый лес палок.

Ванька пал на седло, гикнул и, сшибая конем неувертливых, прорвался в улицу, поскокал в аул к Шалиму, только пыль завилась.